Школа для дураков

Автор:
Саша Соколов

Школа для дураков

Саша Соколов

Азбука Premium

Роман «Школа для дураков» – одно из самых значительных явлений русской литературы конца XX века. По определению самого автора, это книга «об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности… который не может примириться с окружающей действительностью» и который, приобщаясь к миру взрослых, открывает присутствие в мире любви и смерти.

По-прежнему остаются актуальными слова первого издателя романа Карла Проффера: «Ничего подобного нет ни в современной русской литературе, ни в русской литературе вообще».

Саша Соколов

Школа для дураков

Слабоумному мальчику Вите Пляскину, моему приятелю и соседу.

Автор

Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?

Деяния Святых Апостолов, 13, 9–10

Гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть.

Группа глаголов русского языка, составляющих известное исключение из правил; ритмически организована для удобства запоминания

То же имя! Тот же облик!

Эдгар По. Вильям Вильсон

©?В. Плотников, фото, 2017

©?Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА

* * *

Глава первая

Нимфея

Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно, начни словами: там, на пристанционном пруду. На пристанционном? Но это неверно, стилистическая ошибка, Водокачка непременно бы поправила, пристанционным называют буфет или газетный киоск, но не пруд, пруд может быть околостанционным. Ну назови его околостанционным, разве в этом дело. Хорошо, тогда я так и начну: там, на околостанционном пруду. Минутку, а станция, сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию, какая была станция, какая платформа: деревянная

или бетонированная, какие дома стояли рядом, вероятно, ты запомнил их цвет, или, возможно, ты знаешь людей, которые жили в тех домах на той станции? Да, я знаю, вернее, знал некоторых людей, которые жили на станции, и могу кое-что рассказать о них, но не теперь, потом, когда-нибудь, а сейчас я опишу станцию. Она обыкновенная: будка стрелочника, кусты, будка для кассы, платформа, кстати, деревянная, скрипучая, дощатая, часто вылезали гвозди, и босиком там не следовало ходить. Росли вокруг станции деревья: осины, сосны, то есть – разные деревья, разные. Обычная станция – сама станция, но вот то, что за станцией, – то представлялось очень хорошим, необыкновенным: пруд, высокая трава, танцплощадка, роща, дом отдыха и другое. На околостанционном пруду купались обычно вечером, после работы, приезжали на электричках и купались. Нет, но сначала расходились, шли по дачам. Устало, отдуваясь, вытирая лица платками, таща портфели, авоськи, ёкая селезенкой. Ты не помнишь, что лежало в авоськах? Чай, сахар, масло, колбаса; свежая, бьющая хвостом рыба; макароны, крупа, лук, полуфабрикаты; реже – соль. Шли по дачам, пили чай на верандах, надевали пижамы, гуляли – руки-за-спину – по садам, заглядывали в пожарные бочки с зацветающей водой, удивлялись множеству лягушек – они прыгали всюду в траве, – играли с детьми и собаками, играли в бадминтон, пили квас из холодильников, смотрели телевизор, говорили с соседями. И если еще не успевало стемнеть, направлялись компаниями на пруд – купаться. А почему они не ходили к реке? Они боялись водоворотов и стреженей, ветра и волн, омутов и глубинных трав. А может быть, реки просто не было? Может быть. Но как же она называлась? Река называлась.

К пруду вели, по сути дела, все тропинки и дорожки, все в нашей местности. От самых дальних дач, расположенных у края леса, вели тонкие, слабые, почти ненастоящие тропинки. Они едва светились вечером, мерцая, в то время как тропинки более значительные, протоптанные издавна и навсегда, дорожки настолько убитые, что не могло быть и речи, чтобы на них проросла хоть какая-нибудь трава, – такие дорожки и тропинки светились ясно, бело и ровно. Это на закате, да, естественно, на закате, точнее, сразу после заката, в сумерках. И вот, вливаясь одна в другую, все тропинки вели в сторону пруда. В конце концов за несколько сот метров до берега они соединялись в одну прекрасную дорогу. И эта дорога шла немного покосами, а потом вступала в березовую рощу. Оглянись и признайся: плохо или хорошо было вечером, в сером свете, въезжать в рощу на велосипеде? Хорошо. Потому что велосипед – это всегда хорошо, в любую погоду, в любом возрасте. Взять, к примеру, коллегу Павлова. Он был физиологом, ставил разные опыты с животными и много катался на велосипеде. В одном школьном учебнике – ты, разумеется, помнишь эту книгу – есть

специальная глава о Павлове. Сначала идут картинки, где нарисованы собаки с какими-то специальными физиологическими трубочками, вшитыми в горло, и объясняется, что собаки привыкли получать пищу по звонку, а когда Павлов не давал им пищи, а только зря звенел – тогда животные волновались и у них шла слюна – прямо удивительно. У Павлова был велосипед, и академик много ездил на нем. Одна поездка тоже показана в учебнике. Павлов там уже старый, но бодрый. Он едет, наблюдает природу, а звонок на руле – как на опытах, точно такой же. Кроме того, у Павлова была длинная седая борода, как у Михеева, который жил, а возможно и теперь живет, в нашем дачном поселке. Михеев и Павлов – они оба любили велосипед, но разница тут вот в чем: Павлов ездил на велосипеде ради удовольствия, отдыхал, а для Михеева велосипед всегда был работой, такая была у него работа: развозить корреспонденцию на велосипеде. О нем, о почтальоне Михееве, – а может, его фамилия была, есть и будет Медведев? – нужно говорить особо, ему следует уделить несколько особого времени, и кто-нибудь из нас – ты или я – обязательно это сделает. Впрочем, я думаю, ты лучше знаешь почтальона, поскольку жил на даче куда больше моего, хотя, если спросить соседей, они наверняка скажут, будто вопрос очень трудный и что разобраться тут почти невозможно. Мы, скажут соседи, не очень-то следили за вами – то есть за нами, и что это, мол, вообще за вопрос такой странный, зачем вам вдруг понадобилось выяснять какие-то нелепые вещи, не все ли равно, кто сколько жил, просто несерьезно, мол, займитесь-ка лучше делом: у вас в саду май, а деревья, по-видимому, совсем не окопаны, а яблочки, небось, кушать нравится, даже ветрогон Норвегов, – заметят, – и тот с утра в палисаднике копается. Да, копается, ответим мы – кто-нибудь из нас, – или мы скажем хором: да, копается. У наставника Норвегова есть на это время, есть желание. К тому же у него – сад, дом, а у нас – у нас-то ничего подобного уже нет – ни времени, ни сада, ни дома. Вы просто забыли, мы вообще давно, лет, наверное, девять, не живем здесь, в поселке. Мы ведь продали дачу – взяли и продали. Я подозреваю, что ты, как человек более разговорчивый, общительный, захочешь что-нибудь добавить, пустишься в пересуды, начнешь объяснять, почему продали и почему, с твоей точки зрения, можно было не продавать, и не то что можно, а нужно было не продавать. Но лучше уйдем от них, уедем на первой же электричке, я не желаю слышать их голоса.

Наш отец продал дачу, когда вышел на пенсию, хотя пенсия оказалась такая большая, что дачный почтальон Михеев, который всю жизнь мечтает о хорошем новом велосипеде, но все не может накопить достаточно денег, потому что человек он не то чтобы щедрый, а просто небережливый, значит, Михеев, когда узнал от одного нашего соседа, товарища прокурора, какую пенсию станет

получать наш отец, то едва не упал с велосипеда. Почтальон спокойно проезжал вдоль забора, за которым находилась дача соседа, – кстати, ты не помнишь его фамилию? Нет, так сразу не вспомнишь: плохая память на имена, да и что толку помнить все эти имена, фамилии – правда? Конечно, но если бы мы знали фамилию, то было бы удобнее рассказывать. Но можно придумать условную фамилию, они – как ни крути – все условные, даже если настоящие. Но с другой стороны, если назвать его условной фамилией, подумают, будто мы что-то тут сочиняем, пытаемся кого-то обмануть, ввести в заблуждение, а нам скрывать совершенно нечего, речь идет о человеке-соседе, о соседе, которого все в поселке знают, и знают, что он работает товарищем прокурора, и дача у него обычная, не очень-то шикарная, и зря, пожалуй, болтали, будто дом у него из ворованного кирпича – как ты считаешь? А? О чем ты? Ты что – не слушаешь меня? Нет, слушаю, просто я сейчас подумал, что в тех склянках было, наверное, пиво. В каких склянках? В тех больших, у соседа в сарае, в них было обыкновенное пиво – как думаешь? Я не знаю, не помню, я давно не думал о том времени. И в тот момент, когда мимо соседского дома проезжал Михеев, хозяин стоял на пороге сарая и рассматривал на свет склянку с пивом. Велосипед Михеева сильно дребезжал, подпрыгивая на выступающих из-под земли сосновых корнях, и сосед не мог не услышать и не узнать михеевского велосипеда. А услышав и узнав, быстро подошел к забору, чтобы спросить, нету ли писем, а вместо этого – неожиданно для самого себя – сообщил почтальону: прокурора-то, сказал товарищ прокурора, слышал? На пенсию ушли. Улыбаясь. Сколько дали? – отозвался Михеев, не останавливаясь, но лишь слегка тормозя, – сколько денег? Он оглянулся в движении своем, и сосед увидел, что загорелое лицо почтальона ничего не выражает. Почтальон, как всегда, выглядел спокойным, только борода его с прилипшими к ней хвойными иглами развевалась по ветру: по ветру, рожденному скоростью, по скоростному велосипедному ветру, и соседу – будь он хоть немного поэтом – непременно показалось бы, что лицо Михеева, овеянное всеми дачными сквозняками, как бы само излучает ветер и что Михеев и есть тот самый, кого в поселке знали под именем Насылающий Ветер. Точнее сказать, не знали. Никто даже не видел этого человека, его, возможно, и не существовало вовсе. Но вечерами, после купания в пруду, дачники сходились на застекленных верандах, рассаживались в плетеных креслах и рассказывали друг другу разные истории, и одной из них была легенда о Насылающем. Одни утверждали, будто он молод и мудр, другие – будто стар и глуп, третьи настаивали на том, что он средних лет, но неразвит и необразован, четвертые – что стар и умен. Находились и пятые, заявлявшие, что Насылающий молод и дряхл, дурак – но гениален. Говорили, будто он появляется в один из самых солнечных и теплых дней лета, едет на велосипеде, свистит в ореховый свисток и только и делает, что насылает ветер на ту местность, по

которой едет. Имелось в виду, что Насылающий насылает ветер только на ту местность, где слишком уж много дач и дачников. Да-да, а там и была как раз такая местность. Если не ошибаюсь, в районе станции три или четыре дачных поселка. А как называлась станция? – Я никак не могу рассмотреть издали. Станция называлась.

Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов, вздрагивает от шорохов, потом цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой птицы по имени найтингейл; ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками, окликая по имени каждый цветок, обрекая бессоннице желчных станционных старух, безногих и ослепленных войной вагонных гармонистов, сизых путевых обходчиков в оранжевых безрукавках, умных профессоров и безумных поэтов, дачных изгоев и неудачников – удильщиков ранней и поздней рыбы, путающихся в пружинистых сплетениях прозрачной лесы, а также пожилых бакенщиков-островитян, чьи лица, качающиеся над медно-гудящими черными водами фарватера, попеременно бледны или алы, и, наконец, служащих лодочных пристаней, кому мерещится звон отвязанной лодочной цепи, плеск весел, шорох паруса, и они, набросив на плечи гоголевские шинели без пуговиц, выходят из сторожек и шагают по береговым фарфоровым пескам, по дюнам, по травянистым откосам; тихие слабые тени служащих ложатся на камыши, на вереск, а самодельные трубки их светятся подобно кленовым гнилушкам, приманивая удивленных ночных бабочек; но ветка спит, сомкнув лепестки цветов, и поезда, спотыкаясь на стыках, ни за что не разбудят ее и не стряхнут ни капли росы – спи спи пропахшая креозотом ветка утром проснись и цвети потом отцветай сыпь лепестками в глаза семафорам и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу смейся на станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи обнажаясь в зеркальных купе как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от ласковой птицы по имени найтингейл я беременна будущим летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все равно отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ревизора не будет он болен погодите я сама расстегну видите я вся белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто не заметит лепестки на белом не видны а мне уж все надоело иногда я кажусь себе просто старухой

которая всю жизнь идет по раскаленному паровозному шлаку по насыпи она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колеса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный тра та та в чем дело тра та та что тра кто там та где там там там Вета ветла ветлы ветка там за окном в доме том тра та том о ком о чем о Ветке ветлы о ветре тарарам трамваи трамваи аи вечер добрый билеты би леты чего нет Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц Вета ц Альфа Вета Гамма и так далее чего никто не знает потому что никто не хотел учить нас греческому было непростительной ошибкой с их стороны это из-за них мы не можем перечислить толком ни одного корабля а бегущий Гермес цветку подобен но мы почти не понимаем этого того сего Горн мыс труби головы а барабан естественно бей тра та та вопрос это кондуктор ответ нет констриктор что вы там кричите вам плохо вам показалось мне хорошо это встречный простите теперь я точно знаю что это был встречный а то знаете задремал и слышу вдруг не то поет кто-то не то не та не то не та не то не та нетто брутто Италия итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо художник архитектор энтомолог если хочешь увидеть летание четырьмя крыльями ступай во рвы Миланской крепости и увидишь черных стрекоз билет до Милана даже два мне и Михееву Медведеву хочу стрекоз летание в ветлах на реках во рвах некошеных вдоль главного рельсового пути созвездия Веты в гущах вереска где Тинберген сам родом из Голландии женился на коллеге и вскоре им стало ясно что аммофила находит путь домой вовсе не так как филантус а тамбурин конечно же бей кто в тамбуре там та там та там там простая веселая песенка исполняется на тростниковой дурочке на Веточке железной дороги тра та та тра та та вышла кошка за кота за кота Тинбергена приплясывая кошмар ведьма она живет с экскаваторщиком вечно не дает спать в шесть утра поет на кухне готовит ему пищу в котлах горят костры горючие кипят котлы кипучие нужно дать ей какое-то имя если кот Тинберген она будет ведьма Тинберген пляшет в прихожей с самого утра и не дает спать поет про кота и наверное очень кривляется. А почему – наверное? Разве ты не видел, как она пляшет? Нет, мне кажется, я вообще не видел ее никогда. Я живу в одной с ней квартире уже много лет, но дело в том, что ведьма Тинберген – это совсем не та старая женщина, которая здесь прописана и которую я вижу по утрам и вечерам на кухне. Та старая женщина – другая, ее фамилия Трахтенберг, Шейна Соломоновна Трахтенберг, еврейка, на пенсии, она одинокая пенсионерка, и всякое утро я говорю ей: доброе утро, а вечером: добрый вечер, она отвечает, она очень полная женщина, у нее рыжие с сединой волосы, кудри, ей лет шестьдесят пять, мы почти не разговариваем с ней, нам просто не о чем

разговаривать, но время от времени, примерно раз в два месяца, она просит у меня патефон и прокручивает на нем одну и ту же пластинку. Больше она ничего не слушает, у нее нет больше ни одной пластинки. А что за пластинка? Я сейчас расскажу. Предположим, я возвращаюсь домой. Откуда-то. Должен заметить, я заранее знаю, когда Трахтенберг станет просить патефон, я за несколько дней предвижу, что вот скоро, уже совсем скоро она скажет: слушайте, радость моя, сделайте мне удовольствие, что там у вас с патефоном? Я поднимаюсь по лестнице и чувствую: Трахтенберг уже стоит там, за дверью, в прихожей, ожидая меня. Я смело вхожу. Смело. Я вхожу. Добрый вечер. Смело. Вечер добрый, радость моя, сделайте мне удовольствие. Я достаю патефон со шкафа. Довоенный патефон, купленный тогда-то и там-то. Кем-то. У него красный ящик, он всегда в пыли, потому что я хоть и вытираю пыль в комнате, как учила меня наша добрая терпеливая мать, до патефона руки никогда не доходят. Сам я давно не завожу его. Во-первых, у меня нет пластинок, а во-вторых, патефон не работает, испорчен, пружина давно лопнула, и диск не вращается, поверь мне. Шейна Соломоновна, говорю я, патефон не работает, вы же знаете. Неважно, отвечает Трахтенберг, мне только одну пластиночку. Ах, только одну, говорю я. Дадада, – улыбается Шейна, зубы у нее в основном золотые, носит очки в черепаховой оправе, лицо пудрит, – одну пластиночку. Она берет патефон, уносит к себе в комнату и запирается на задвижку. А минут через десять я слышу голос Якова Эммануиловича. Но ты не сказал, кто это – Яков Эммануилович. А разве ты не помнишь его? Он был ее муж, он умер, когда нам с тобой было лет по десять, и мы жили с родителями в той комнате, где теперь живу один я или живешь один ты, короче – кто-то из нас. А все же – кто именно? Какая разница! Я рассказываю тебе такую интересную историю, а ты опять начинаешь приставать ко мне, я ведь не пристаю к тебе, по-моему, мы раз и навсегда договорились, что между нами нет никакой разницы, или ты снова хочешь туда? Извини, впредь я постараюсь не причинять тебе неприятностей, понимаешь, у меня не все хорошо с памятью. А думаешь, у меня хорошо? Ну извини, пожалуйста, извини, я не хотел огорчать тебя. Так вот, Яков умер от лекарства, он чем-то отравился. Шейна очень мучила его, требовала каких-то денег, она полагала, что муж скрывает от нее несколько тысяч, а он был обыкновенный аптекарь, провизор, и я уверен, что у него не было ни гроша. Я думаю, Шейна просто издевалась над ним, требуя денег. Она была моложе Якова лет на пятнадцать и, как говорили во дворе на скамейках, изменяла ему с управляющим домами Сорокиным, у которого была одна рука и который потом, год спустя после смерти Якова, повесился в пустом гараже. За неделю до этого он продал немецкую трофейную машину, которую привез из Германии. Если помнишь, на скамейках любили поговорить о том, зачем Сорокину машина, он все равно не может водить, не станет же он шофера нанимать. А потом все

выяснилось. Когда Яков уезжал в командировку или по суткам дежурил в аптеке, Сорокин уводил Шейну в гараж, и там, в машине, она и изменяла Якову. Вот благо-то, говорили на скамейках, вот благо-то – собственная машина, мол, даже и ездить, оказывается, не обязательно на ней: явился в гараж, заперся изнутри, фары включил, сиденья откинул – и пожалуйста, развлекайся на здоровье. Ну и Сорокин, говорили во дворе, даром что безрукий. Опиши наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я бы сказал, то была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья липы, стояли два или три гаража, а за гаражами – горы битого кирпича и вообще всякого мусора. Но главное – там валялись старые газовые плиты, сотни три или четыре, их свезли к нам во двор из всех соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки, дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? Мне странно, что ты не понимаешь этого. Мы открывали дверки, чтобы тут же с размаху захлопывать их. Но не возвратиться ли нам к людям, которые жили в нашем дворе, мы знали многих. Нет-нет, с ними так скучно, я хотел бы поговорить теперь о другом. Видишь ли, у нас вообще что-то не так со временем, мы неверно понимаем время. Ты не забыл, как однажды, много лет назад, мы повстречали на станции нашего учителя Норвегова? Нет, не забыл, мы встретили его на станции. Он сказал, что покинул час назад берега водоема, где производил ужение на мотыля. У него и правда была с собою удочка и ведро, и я успел заметить, что в ведре плавали какие-то животные, но только не рыбы. Наш географ Норвегов построил дачу тоже в районе той станции, только за рекой, и нередко мы навещали его. Но что еще сказал нам в тот день учитель? Географ Норвегов сказал нам примерно следующее: молодой человек, вы, должно быть, заметили, какая прекрасная погода удерживается в нашей местности вот уже много дней кряду; не считаете ли вы, что наши уважаемые дачники не заслуживают подобной роскоши? Не кажется ли вам, мой юный товарищ, что пора бы уже, как говорится, грянуть буре, грозе? Норвегов посмотрел в небо, рукой глаза свои заслонив от солнца. И ведь грянет, милый вы мой, да еще как грянет – полетят клочки по закоулочкам! И не когда-нибудь, а не сегодня-завтра. Кстати, вы-то задумываетесь над этим, вы в это верите?

Павел Петрович стоял посреди платформы, станционные часы показывали два часа пятнадцать минут, на нем была его обычная светлая шляпа, вся в небольших дырочках, будто изъеденная молью или многократно пробитая ревизорским компостером, а на самом деле дырочки были пробиты на фабрике, чтобы у покупателя, а в данном случае у Павла Петровича, в жаркие времена года не потела голова. А кроме того, думали на фабрике, темные дырочки на

светлом фоне – это все-таки что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, это лучше, чем ничего, то есть лучше с дырочками, чем без них, решили на фабрике. Хорошо, но что еще носил наш учитель в то лето, да и вообще в лучшие месяцы тех незабываемых лет, когда мы жили с ним на одной станции, причем его дача находилась в поселке за рекой, а наша – в одном из тех поселков, которые были на том же берегу, что и станция? Довольно трудно ответить на этот вопрос, я не припомню в точности, что носил Павел Петрович. Проще сказать, чего он не носил. Норвегов никогда не носил обуви. Во всяком случае летом. И в тот жаркий день на платформе, на старой деревянной платформе, он легко мог бы занозить себе ногу, или сразу обе. Да, это могло произойти с каждым, но только не с нашим учителем, понимаешь, он был такой небольшой, хрупкий, и когда ты видел его бегущим по дачной тропинке или по школьному коридору, тебе казалось, будто его босые ноги совсем не касаются земли, пола, а когда он стоял в тот день посреди деревянной платформы, казалось, он не стоит вовсе, но как бы висит над ней, над ее щербатыми досками, над всеми ее окурками, отгоревшими спичками, тщательно обсосанными палочками от эскимо, использованными билетами и высохшими, а потому невидимыми пассажирскими плевками разных достоинств. Позволь мне перебить тебя, возможно, я что-то не так понял. Разве Павел Петрович ходил босиком даже в школу? Нет, я, очевидно, оговорился, я хотел сказать, что он ходил босиком на даче, но, может быть, он не надевал обуви и в городе, когда шел на работу, а мы и не замечали. А может, и замечали, но это не слишком бросалось в глаза. Да, почему-то не слишком, в таких случаях многое зависит от самого человека, а не от тех, кто на него смотрит, да, я вспоминаю, не слишком. Но как бы там ни было в школьные сезоны, ты определенно знаешь, что уж летом-то Норвегов ходил без обуви. Вот именно. Как заметил однажды наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках, на кой хрен сдалась Павлу обувь, да еще в такую жару! Это только мы, бедолаги казенные, продолжал отец, все никак отдохнуть ногам не даем: не сапоги так галоши, не галоши так сапоги – так и мучаешься весь век. Дождь на улице – суши, значит, ботинки, солнце – смотри, значит, чтоб не потрескались. А главное – всякий день с утра возишься с гуталином. А Павел – человек вольный, мечтательный, он и умирать-то на босу ногу станет. Бездельник он, твой Павел, – сказал нам отец, – потому и босяк. Все деньги, небось, на дачу извел, в долгах сплошь, а все туда же – рыбу ловить, на берегу прохлаждаться, тоже мне – дачник фиговый. У него и дом-то нашего сарая плоше, а он еще и флюгер на крышу поставил, подумать только – флюгер! Я его, дурака, спрашиваю: зачем, мол, флюгер-то, трещит только напрасно. А он мне оттуда, с крыши: да мало ли, гражданин прокурор, что случиться может, например, говорит, ветер дует-дует в одну сторону, да и переменится вдруг. Вам-то, говорит, хорошо, вы, смотрю, всё газеты читаете, там, конечно, про это пишут, про погоду то есть, а я, знаете,

не выписываю ничего, так что для меня флюгер – вещь абсолютно необходимая. Вы-то, говорит, из газет сразу узнаете, если что не так, а я по флюгеру ориентироваться буду, куда уж точнее, точнее и быть не может, – рассказывал наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках. Потом отец вылез из гамака, пошагал – руки-за-спину – среди сосен, переполненных горячей смолой и земляными соками, сорвал на грядке и съел несколько клубник, посмотрел на небо, где в тот момент не оказалось ни облаков, ни самолетов, ни птиц, зевнул, помотал головой и сказал, имея в виду Норвегова: ну, пусть Бога благодарит, что не я его директор, попрыгал бы он у меня, поизучал бы он у меня ветер кое-где, балбес малохольный, босяк, флюгер несчастный. Бедняга географ, наш отец не испытывал к нему ни малейшего уважения, вот что значит не носить обуви. Правда, к тому времени, когда мы встретились с Норвеговым на платформе, ему, Павлу Петровичу, было, по всей видимости, уже безразлично, уважает его наш отец или не уважает, поскольку к тому времени его, нашего наставника, не существовало, он умер весной такого-то, то есть за два с лишним года до нашей с ним встречи на этой самой платформе. Вот я и говорю, у нас что-то не так со временем, давай разберемся. Он долго болел, у него была тяжелая продолжительная болезнь, и он прекрасно знал, что скоро умрет, но не подавал виду. Он оставался самым веселым, а точнее – единственным веселым человеком в школе, и без конца шутил. Он говорил, что ощущает себя настолько худым, что боится, как бы его не унес какой-нибудь случайный ветер. Врачи, – смеялся Норвегов, – запретили мне подходить к ветряным мельницам ближе чем на километр, но запретный плод сладок: меня ужасно к ним тянет, они совсем рядом с моим домом, на полынных холмах, и когда-нибудь я не выдержу. В дачном поселке, где я живу, меня называют ветрогоном и флюгером, но скажите, разве так уж плохо слыть ветрогоном, особенно если ты – географ? Географ даже обязан быть ветрогоном, это его специальность, как вы считаете, мои молодые друзья? Не поддаваться унынию, – задорно кричал он, размахивая руками, – не так ли, жить на полной велосипедной скорости, загорать и купаться, ловить бабочек и стрекоз, самых разноцветных, особенно тех великолепных траурниц и желтушек, каких так много у меня на даче! Что же еще, – спрашивал учитель, похлопывая себя по карманам, чтобы найти спички, папиросы и закурить, – что же еще? Знайте, други, на свете счастья нет, ничего подобного, ничего похожего, но зато – Господи! – есть же, в конце концов, покой и воля. Современный географ, как, впрочем, и монтер, и водопроводчик, и генерал, живет всего однажды. Так живите по ветру, молодежь, побольше комплиментов дамам, больше музыки, улыбок, лодочных прогулок, домов отдыха, рыцарских турниров, дуэлей, шахматных матчей, дыхательных упражнений и прочей чепухи. А если вас когда-нибудь назовут ветрогоном, – говорил Норвегов, гремя на всю школу найденным коробком спичек, – не

обижайтесь: это не так уж плохо. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы, освежает лицо, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а завтра ломает ненужные ветхие постройки, вырывает с корнем дубы, возмущает и вздувает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету, – убоюсь ли чего я, географ Павел Норвегов, честный загорелый человек из пятой пригородной зоны, скромный, но знающий дело педагог, чья худая, но все еще царственная рука с утра до вечера вращает пустопорожнюю планету, сотворенную из обманного папье-маше! Дайте мне время – я докажу вам, кто из нас прав, я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий, вы разучитесь читать и писать, вам захочется лепетать подобно августовской осинке. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески, вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя! Безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами! Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и униженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий у вас в жилах вместо крови. Бойтесь Насылающего Ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они порождают ураганы и смерчи. Это говорю вам я, географ пятой пригородной зоны, человек, вращающий пустотелый картонный шар. И говоря это, я беру в свидетели вечность – не так ли, мои юные помощники, мои милые современники и коллеги, – не так ли?

Он умер весной такого-то в своем домике с флюгером. В тот день мы должны были сдавать последний экзамен за такой-то класс, как раз его экзамен, географию. Норвегов обещал подъехать к девяти, мы собрались в коридоре и ждали учителя до одиннадцати, но он все не приходил. Директор школы Перилло сказал, что экзамен переносится на завтра, поскольку Норвегов, по-видимому, заболел. Мы решили навестить его, но никто из нас не знал городской адрес наставника, и мы спустились в учительскую к завучу Тинберген, которая тайком живет в нашей квартире и пляшет по утрам в прихожей, но которую ни ты, ни я ни разу не видели, ибо стоит только смело распахнуть дверь из комнаты в прихожую, как оказываешься – распахнуть смело! – во рву Миланской крепости и наблюдаешь летание на четырех крыльях. День чрезвычайно солнечный, причем Леонардо в старом неглаженом хитоне стоит у кульмана с рейсфедером в одной руке и с баночкой красной туши – в другой и наносит на ватманский лист кое-какие чертежи, срисовывает побеги осоки, которой сплошь поросло илистое и сырое дно рва (осока доходит Леонардо до пояса), делает один за

другим наброски баллистических приборов, а когда немного устает, то берет белый энтомологический сачок и ловит черных стрекоз, чтобы подробно изучить строение их глазной сетчатки. Художник смотрит на тебя хмуро, он как будто всегда чем-то недоволен. Ты хочешь покинуть ров, вернуться назад, в комнату, ты уже поворачиваешься и пытаешься отыскать в отвесной стене рва дверь, обитую дерматином, но мастер успевает удержать тебя за руку и, глядя тебе в глаза, говорит: домашнее задание: опиши челюсть крокодила, язык колибри, колокольню Новодевичьего монастыря, опиши стебель черемухи, излучину Леты, хвост любой поселковой собаки, ночь любви, миражи над горячим асфальтом, ясный полдень в Березове, лицо вертопраха, адские кущи, сравни колонию термитов с лесным муравейником, грустную судьбу листьев – с серенадой венецианского гондольера, а цикаду обрати в бабочку; преврати дождь в град, день – в ночь, хлеб наш насущный даждь нам днесь, гласный звук сделай шипящим, предотврати крушение поезда, машинист которого спит, повтори тринадцатый подвиг Геракла, дай закурить прохожему, объясни юность и старость, спой мне песню, как синица за водой поутру шла, обрати лицо свое на север, к новгородским высоким дворам, а потом расскажи, как узнает дворник, что на улице идет снег, если дворник целый день сидит в вестибюле, беседует с лифтером и не смотрит в окно, потому что окна нет, да, расскажи, как именно; а кроме того, посади у себя в саду белую розу ветров, покажи учителю Павлу и, если она понравится ему – подари учителю Павлу белую розу, приколи цветок ему на ковбойку или на дачную шляпу, сделай приятное ушедшему в никуда человеку, порадуй своего старого педагога – весельчака, балагура и ветрогона. О Роза, скажет учитель, белая Роза Ветрова, милая девушка, могильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего! В одну из ночей смущенного своею красотой лета жду тебя в домике с флюгером, за синей рекой, адрес: дачная местность, пятая зона, найти почтальона Михеева, спросить Павла Норвегова, звонить многократно велосипедным звонком, ждать лодку с туманного берега, жечь сигнальный костер, не унывать. Лежа над крутым песчаным обрывом в стоге сена, считать звезды и плакать от счастья и ожидания, вспоминать детство, похожее на можжевеловый куст в светлячках, на елку, увешанную немыслимой чепухой, и думать о том, что совершится под утро, когда минует станцию первая электричка, когда проснутся с похмельными головами люди заводов и фабрик и, отплевываясь и проклиная детали машин и механизмов, нетрезво зашагают мимо околостанционных прудов к пристанционным пивным ларькам – зеленым и синим. Да, Роза, да, скажет учитель Павел, то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, которое вдруг выпало во тьме из оправы, дабы предупредить владельца о близкой смерти. Это будет похоже на свирель пастуха и на музыку, что еще не написана. Приди ко мне, Роза Ветрова, неужели

тебе не дорог твой старый учитель, шагающий по долинам небытия и по взгорьям страданий. Приди, чтобы унять трепет чресел твоих и утолить печали мои. И если наставник Павел скажет так, говорит тебе Леонардо, то известишь меня об этом в ту же ночь, и я докажу всем на свете, что во времени ничто находится в прошлом и будущем и ничего не имеет от настоящего, и в природе сближает с невозможным, отчего, по сказанному, не имеет существования, поскольку там, где было бы ничто, должна была бы налицо быть пустота, но тем не менее, продолжает художник, при помощи мельниц произведу я ветер в любое время. А тебе последнее задание: этот прибор, похожий на гигантскую черную стрекозу, – видишь? Он стоит на пологом травянистом холме, – испытаешь завтра над озером и наденешь в виде пояса длинный мех, чтобы при падении не утонул ты. И тогда ты отвечаешь художнику: дорогой Леонардо, боюсь, я не смогу выполнить ваших интересных заданий, разве что задание, связанное с узнаванием дворником того факта, что на улице идет снег. На этот вопрос я могу ответить любой экзаменационной комиссии в любое время столь же легко, сколь вы можете произвести ветер. Но мне, в отличие от вас, не понадобится ни одной мельницы. Если дворник с утра до вечера сидит в вестибюле и беседует с лифтером, а окна в вестибюле йок, что по-татарски значит нет, то дворник узнает, что на улице, а точнее сказать – над улицей или на улицу, идет снег, по снежинкам на шапках и воротниках посетителей, которые спешно входят с улицы в вестибюль, торопясь на встречу с начальством. Они, несущие на одежде своей снежинки, делятся обычно на два типа: хорошо одетые и плохо, но справедливость торжествует – снег делится на всех поровну. Я заметил это, когда работал дворником в Министерстве Тревог. Я получал всего шестьдесят рублей в месяц, зато прекрасно изучил такие хорошие явления, как снегопад, листопад, дождепад и даже градобой, чего не может, конечно же, сказать о себе никто из министров или их помощников, хотя все они и получали в несколько раз больше моего. Вот я и делаю простой вывод: если ты министр, ты не можешь как следует узнать и понять, что делается на улице и в небе, поскольку, хоть у тебя и есть в кабинете окно, ты не имеешь времени посмотреть в него: у тебя слишком много приемов, встреч и телефонных звонков. И если дворник легко может узнать о снегопаде по снежинкам на шапках посетителей, то ты, министр, не можешь, ибо посетители оставляют верхнюю одежду в гардеробе, а если и не оставляют, то, пока они дожидаются лифта и едут в нем, снежинки успевают растаять. Вот почему тебе, министру, кажется, будто на дворе всегда лето, а это не так. Поэтому, если ты хочешь быть умным министром, спроси о погоде у дворника, позвони ему по телефону в вестибюль. Когда я служил дворником в Министерстве Тревог, я подолгу сидел в вестибюле и беседовал с лифтером, а Министр Тревог, зная меня как честного, исполнительного сотрудника, время от времени позванивал мне и спрашивал:

это дворник такой-то? Да, отвечал я, такой-то, работаю у вас с такого-то года. А это Министр Тревог такой-то, говорил он, работаю на пятом этаже, кабинет номер три, третий направо по коридору, у меня к вам дело, зайдите на пару минут, если не заняты, очень нужно, поговорим о погоде.

Да, кстати, мало того, что я служил с ним в одном министерстве, мы еще были, а возможно являемся и сейчас, соседями по даче, то есть по дачному поселку, дача Министра наискосок от нашей. Я из осторожности употребил здесь два слова: были и являемся, что означает есть, поскольку – хотя врачи утверждают, будто я давно выздоровел, – до сих пор не могу с точностью и определенно судить ни о чем таком, что хоть в малейшей степени связано с понятием время. Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое. Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда – череда дней. Никакой череды нет, дни приходят, когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь.

И другие тоже, тоже болеют, но молчат. Еще я хотел бы сказать, что у каждого человека есть свой, особый, не похожий ни на чей, календарь жизни. Дорогой Леонардо, если бы вы попросили меня составить календарь моей жизни, я принес бы листочек бумаги со множеством точек: весь листок был бы в точках, одни точки, и каждая точка означала бы день. Тысячи дней – тысячи точек. Но не спрашивайте меня, какой день соответствует той или иной точке: я ничего про это не знаю. Не спрашивайте также, на какой год, месяц или век жизни составил я свой календарь, ибо я не знаю, что означают упомянутые слова, и вы сам, произнося их, тоже не знаете этого, как не знаете и такого определения времени, в истинности которого я бы не усомнился. Смиритесь! Ни вы, ни я и никто из наших приятелей не в состоянии объяснить, что мы разумеем, рассуждая о времени, спрягая глагол есть и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: завтра — это лишь другое имя сегодня, будто нам дано осознать хоть малую долю того, что происходит с нами здесь, в замкнутом пространстве необъяснимой песчинки, будто все, что здесь происходит, есть, является, существует – действительно, на самом деле есть, является, существует. Дорогой

Леонардо, недавно (сию минуту, в скором времени) я плыл (плыву, буду плыть) на весельной лодке по большой реке. До этого (после этого) я много раз бывал (буду бывать) там и хорошо знаком с окрестностями. Была (есть, будет) очень хорошая погода, а река – тихая и широкая, а на берегу, на одном из берегов, куковала кукушка (кукует, будет куковать), и она, когда я бросил (брошу) весла, чтобы отдохнуть, напела (напоет) мне много лет жизни. Но это было (есть, будет) глупо с ее стороны, потому что я был совершенно уверен (уверен, буду уверен), что умру очень скоро, если уже не умер. Но кукушка не знала об этом, и, надо полагать, моя жизнь интересовала ее в гораздо меньшей степени, чем ее жизнь – меня. Итак, я бросил весла и, считая якобы свои годы, задал себе несколько вопросов: как называется эта влекущая меня к дельте река, кто есть я, влекомый, сколько мне лет, как мое имя, какой день нынче и какого, в сущности, года, а также: лодка, вот лодка, обычная лодка – но чья? И отчего именно лодка? Уважаемый мастер, то были простые, но такие мучительные вопросы, что я не смог ответить ни на один и решил, что у меня приступ той самой наследственной болезни, которой страдала моя бабушка, бывшая бабушка. Не поправляйте, я умышленно употребляю тут слово бывшая вместо покойная, согласитесь, первое звучит лучше, мягче и не так безнадежно. Видите ли, когда бабушка еще была с нами, она иногда теряла память, так обычно случалось, если она долго смотрела на что-нибудь необыкновенно красивое. И вот тогда, на реке, я подумал: вокруг, наверное, слишком красиво, и поэтому я, как бабушка, потерял память и не в состоянии ответить себе на самые обычные вопросы. Спустя несколько дней я поехал к лечащему доктору Заузе и посоветовался, спросил совета. Доктор сказал мне: знаете, дружок, у вас, без сомнения, было то самое, бабушкино. Плюньте вы на этот загород, сказал он, перестаньте туда ездить, что вы там потеряли, в самом-то деле. Но, доктор, – сказал я, – там красиво, красиво, я хочу туда. В таком случае, – сказал он, снимая, а может, надевая очки, – я запрещаю вам туда ездить. Но я не послушал его. По-моему, он из той категории жадных людей, что сами любят бывать в хороших местах и желали бы, чтобы никто, кроме них, туда не ездил. Я, конечно, пообещал ему никуда из города не уезжать, а сам уехал, как только меня выписали, и жил на даче все оставшееся лето и даже кусочек осени, пока на участках не начали жечь костры из опавших листьев, а часть опавших листьев не поплыла по нашей реке. В те дни вокруг стало настолько красиво, что я не мог выходить даже на веранду: стоило мне посмотреть на реку и увидеть, какие разноцветные леса на том, норвеговском, берегу, как я начинал плакать и ничего не мог с собой поделать. Слезы текли сами собой, и я не мог сказать им – нет, а внутри было неспокойно и горячо (отец потребовал, чтобы мы с матерью вернулись в город – и мы вернулись), но то, что произошло тогда, на реке, в лодке, больше не повторялось – ни летом, ни осенью, и вообще с тех пор

никогда. Ясное дело, я могу что-нибудь забыть: вещь, слово, фамилию, дату, но только тогда, на реке, в лодке, я забыл все сразу. Но, как я сейчас понимаю, то состояние было все же не бабушкино, а какое-то другое, мое собственное, может, не изученное пока врачами. Да, я не мог ответить себе на поставленные вопросы, но, по сути, это вовсе не означало потерю памяти, это бы еще куда ни шло. Дорогой Леонардо, все было гораздо серьезнее, а именно: я находился в одной из стадий исчезновения. Видите ли, человек не может исчезнуть моментально и полностью, прежде он превращается в нечто отличное от себя по форме и по сути – например в вальс, в отдаленный, звучащий чуть слышно вечерний вальс, то есть исчезает частично, а уж потом исчезает полностью.

Где-то на поляне расположился духовой оркестр. Музыканты уселись на свежих еловых пнях, а ноты положили перед собой, но не на пюпитры, а на траву. Трава высокая, и густая, и сильная, как озерный камыш, и без труда держит нотные тетради, и музыканты без труда различают все знаки. Ты не знаешь, это, наверное, возможно, что никакого оркестра на поляне нет, но из-за леса слышится музыка, и тебе хорошо. Хочется снять обувь свою, носки, встать на цыпочки и танцевать под эту далекую музыку, глядя в небо, хочется, чтобы она никогда не переставала. Вета, милая, вы танцуете? Конечно, дорогой, я так люблю танцевать. Так позвольте же пригласить вас на тур. С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием! Но вот на поляну являются косари. Их инструменты, их двенадцатиручные косы, тоже блестят на солнце, но не золотом, как у музыкантов, а серебром. И косари начинают косить. Первый косарь приближается к трубачу и, наладив косу, – музыка играет, – резким махом срезает те травяные стебли, на которых лежит нотная тетрадь трубача. Тетрадь падает и закрывается. Трубач захлебывается на полуноте и тихо уходит в чащу, где много родников и поют всевозможные птицы. Второй косарь направляется к валторнисту и делает то же самое – музыка играет, – что сделал первый: срезает. Тетрадь валторниста падает. Он встает и уходит следом за трубачом. Третий косарь широко шагает к фаготу: и его тетрадь – музыка играет, но становится тише – тоже падает. И вот уже трое музыкантов бесшумно, гуськом идут слушать птиц и пить родниковую воду. Скоро следом – музыка играет пиано – идут: корнет, ударные, вторая и третья труба, а также флейтисты, и все они несут инструменты – каждый несет свой, и весь оркестр скрывается в чаще, никто не дотрагивается губами до мундштуков, но музыка все равно играет. Она, звучащая теперь пианиссимо, осталась на поляне, и косари, посрамленные чудом, плачут и утирают мокрые лица рукавами своих красных косовороток. Косари не могут работать – их руки трясутся, а сердца их подобны унылым болотным жабам, а музыка – играет. Она живет сама по себе,

это – вальс, который только вчера был кем-нибудь из нашего числа: человек исчез, перешел в звуки, а мы никогда не узнаем об этом. Дорогой Леонардо, что касается моего случая с лодкой, рекой, веслами и кукушкой, то я, очевидно, тоже исчез. Я превратился тогда в нимфею, в белую речную лилию с длинным золотисто-коричневым стеблем, а точнее сказать так: я частично исчез в белую речную лилию. Так лучше, точнее. Хорошо помню, я сидел в лодке, бросив весла. На одном из берегов кукушка считала мои годы. Я задал себе несколько вопросов и собрался уже отвечать, но не смог и удивился. А потом что-то случилось во мне, там, внутри, в сердце и в голове, будто меня выключили. И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не верить, не хотелось. И сказал себе: это неправда, это кажется, ты немного устал, сегодня очень жарко, бери греби и греби домой. И попытался взять весла, протянул к ним руки, но ничего не получилось: я видел рукояти, но ладони мои не ощущали их, дерево гребей протекало через мои пальцы, через их фаланги, как песок, как воздух. Нет, наоборот, я, мои бывшие, а теперь не существовавшие ладони обтекали дерево подобно воде. Это было хуже, чем если бы я стал призраком, потому что призрак, по крайней мере, может пройти сквозь стену, а я не прошел бы, мне было бы нечем пройти, от меня ведь ничего не осталось. И опять неверно: что-то осталось. Осталось желание себя прежнего, и пусть я не сумел вспомнить, кем я жил до исчезновения, я чувствовал, что тогда, то есть до, жизнь моя текла интересней, полнее, и хотелось стать снова тем самым неизвестным, забытым таким-то. Лодку прибило волнами к берегу в пустынном месте. Пройдя по пляжу несколько шагов, я оглянулся: на песке не осталось ничего похожего на мои следы. И все-таки я еще не хотел верить. Мало ли как бывает, во-первых, может оказаться, что все это сон, во-вторых, возможно, что песок здесь необычайно плотный и я, весящий всего столько-то килограммов, не оставил на нем следов из-за своей легкости, и, в-третьих, вполне вероятно, что я и не выходил еще из лодки на берег, а до сих пор сижу в ней и, естественно, не мог оставить следов там, где еще не был. Но затем, когда я посмотрел вокруг и увидел, какая красивая у нас река, какие замечательные старые ветлы и цветы растут на том и на этом берегу, я сказал себе: ты – несчастный изолгавшийся трус, ты испугался, что исчез, и решил обмануть себя, придумываешь нелепости и прочее, ты должен наконец стать честным, как Павел, он же и Савл. То, что произошло с тобой, – никакой не сон, это ясно. Дальше: если бы ты весил даже не столько-то, а в сто раз меньше, то и в таком случае твои следы остались бы на песке. Но ты не весишь отныне и грамма, ибо тебя нет, ты просто исчез, и если хочешь убедиться в этом, оглянись еще раз и посмотри в лодку: ты увидишь, что и в лодке тебя тоже нет. Да, нет, отвечал я другому себе (хотя доктор Заузе пытался доказать мне, будто никакого другого меня не существует, я не склонен доверять его ни на чем не основанным утверждениям), да, в лодке меня нету, но

зато там, в лодке, лежит белая речная лилия с золотисто-коричневым стеблем и желтыми слабоароматными тычинками. Я сорвал ее час тому у западных берегов острова, в заводи, где подобных лилий, а также желтых кувшинок столь много, что их не хочется трогать, лучше сидеть в лодке просто так, смотреть на них, на каждую в отдельности или на все вместе. Можно увидеть там и синих стрекоз, называемых по-латыни симпетрум, быстрых и нервных жуков-водомеров, похожих на пауков-косиножек, а в осоке плавают утки, честное слово, дикие утки. Они какие-то пестрые, с перламутровым отливом. Там есть и чайки: они спрятали свои гнезда на острове, среди так называемых плакучих ив, плакучих и серебристых, и нам ни разу не удавалось найти ни одного гнезда, мы даже не представляем себе, как оно выглядит – гнездо речной чайки. Зато мы знаем, как чайка ловит рыбу. Птица летит довольно высоко над водой и глядит в глубину, где рыбы. Птица хорошо видит рыбу, но рыба не видит птицу, а видит только мошку и комара, которым нравится летать над самой водой (пьют сладкий сок кувшинок), рыба питается ими. Она время от времени выпрыгивает из воды и глотает одного-двух комаров, а в этот момент птица, сложив крылья, падает с высоты и ловит рыбу и уносит ее в своем клюве в свое гнездо, гнездо чайки. Правда, иногда птице не удается схватить рыбу, тогда птица опять набирает нужную высоту и продолжает лететь, глядя в воду. Там она видит рыбу и свое отражение. Это другая птица, думает чайка, очень похожая на меня, но другая, она живет по ту сторону реки и всегда вылетает на охоту вместе со мной, она тоже ловит рыбу, а гнездо этой птицы – где-то на обратной стороне острова, прямо под нашим гнездом. Она – хорошая птица, размышляет чайка. Да, чайки, стрекозы, водомеры и тому подобное – вот что есть у западных берегов острова, в заводи, где я сорвал нимфею, которая лежит теперь в лодке, увядая.

Но для чего ты сорвал ее, разве была какая-то необходимость, ты же не любишь – я знаю, – не любишь собирать цветы, а любишь только наблюдать их или осторожно трогать рукой. Конечно, я не должен был, я не хотел, поверь мне, сначала не хотел, никогда не хотел, мне казалось, что если я когда-нибудь сорву ее, то случится что-то неприятное – со мной или с тобой, или с другими людьми, или с нашей рекой, например, разве она не может иссякнуть? Ты произнес сейчас странное слово, что ты сказал, что это за слово – сяку. Нет, тебе показалось, послышалось, было не такое слово, похожее на это, но не такое, я уже не могу вспомнить. А о чем я вообще говорил только что, ты не мог бы помочь мне восстановить нить моего рассуждения, она оборвана. Мы беседовали о том, как однажды Трахтенберг отвинтила кран в ванной и куда-то его спрятала, а когда пришел смотритель, он долго стоял в ванной и смотрел. Он долго молчал, потому что ничего не понимал. Вода текла, шумела, и ванна

постепенно наполнялась, и вот смотритель спросил Трахтенберг: где кран? И старая женщина отвечала ему: у меня есть патефон (неправда, патефон есть только у меня), а крана нет. Но ведь крана нет и у ванной, сказал смотритель. Об этом, гражданин, судить вам, я же вам не ответчик, – и ушла в комнату. А смотритель подошел к двери и начал стучать, но ни Трахтенберг, ни Тинберген не открывала ему. Я же стоял в прихожей и думал, и когда смотритель обернулся ко мне и спросил, что делать, я сказал: стучите, и вам откроют. Он опять стал стучать, и Трахтенберг вскоре открыла ему, и он опять поинтересовался: где кран? Я не знаю, возражала ему старая Тинберген, спросите у молодого человека. И она указала своим костлявым пальцем в мою сторону. Смотритель заметил: возможно, у паренька не все дома, но, сдается мне, он не настолько глуп, чтобы отвинчивать краны, это сделали вы, и я пожалуюсь управдому Сорокину. И тогда Тинберген расхохоталась смотрителю в лицо. Зловеще. И смотритель ушел жаловаться. Я же стоял в прихожей и размышлял. Здесь, на вешалке, висели пальто и головные уборы, здесь стояли два контейнера для перевозки мебели. Эти вещи принадлежали соседям, то есть Трахтенберг-Тинберген и ее экскаваторщику. Во всяком случае, замасленная кепка-восьмиклинка была точно его, потому что сама старуха носила только шляпы. Я нередко стою в прихожей и рассматриваю всякие предметы на вешалке. Мне кажется, что они добрые и с ними уютно, и я совсем не боюсь их, когда в них никто не одет. Еще я думаю о контейнерах, из какого они дерева, сколько сто`ят и на каком поезде и по какой ветке их привезли в наш город.

Дорогой ученик такой-то, я, автор книги, довольно ясно представляю себе тот поезд – товарный и длинный. Его вагоны, по преимуществу коричневые, были исписаны мелом – буквы, цифры, слова, целые фразы. Видимо, на некоторых вагонах работники в специальных железнодорожных костюмах и фуражках с оловянными кокардами делали выкладки, заметки, расчеты. Предположим, поезд уже несколько суток стоит в тупике и еще неизвестно – никто не знает этого, – когда он снова поедет, и никто не знает – куда. И вот в тупик приходит комиссия, смотрит на пломбы, бьет молотками по колесам, заглядывает в буксы, проверяя, нет ли трещин в металле и не подмешал ли кто песок в масло. Комиссия спорит, ругается, ей давно надоела ее однообразная работа, и она с удовольствием ушла бы на пенсию. А сколько же лет до пенсии? – размышляет комиссия. Она берет кусок мела и пишет на чем попало, обычно на одном из вагонов: год рождения – такой-то, трудовой стаж – такой-то, значит, до пенсии столько-то. Потом на работу выходит следующая комиссия, она очень задолжала своим коллегам из первой комиссии, вот отчего вторая комиссия не спорит и не ругается, а старается делать все тихо и даже не пользуется молотками. Этой

комиссии грустно, она тоже достает из кармана мел (здесь я должен в скобках заметить, что станция, где происходит действие, никогда, даже во времена мировых войн, не могла пожаловаться на нехватку мела. Ей, случалось, недоставало шпал, дрезин, спичек, молибденовой руды, стрелочников, гаечных ключей, шлангов, шлагбаумов, цветов для украшения откосов, красных транспарантов с необходимыми лозунгами в честь того или совершенно иного события, запасных тормозов, сифонов и поддувал, стали и шлаков, бухгалтерских отчетов, амбарных книг, пепла и алмаза, паровозных труб, скорости, патронов и марихуаны, рычагов и будильников, развлечений и дров, граммофонов и грузчиков, опытных письмоводителей, окрестных лесов, ритмичных расписаний, сонных мух, щей, каши, хлеба, воды. Но мела на этой станции всегда было столько, что, как указывалось в заявлении телеграфного агентства, понадобится составить столько-то составов такой-то грузоподъемностью каждый, чтобы вывезти со станции весь потенциальный мел. Вернее, не со станции, а из меловых карьеров в районе станции. А сама станция называлась Мел, и река – туманная белая река с меловыми берегами – не могла называться иначе как Мел. Короче, всё здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне: люди работали в меловых карьерах и шахтах, получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом, мелом мыли руки, умывались, чистили кастрюли и зубы и, наконец, умирая, завещали похоронить себя на поселковом кладбище, где вместо земли был мел и каждую могилу украшала меловая плита. Надо думать, поселок Мел был на редкость чистый, весь белый и прибранный, и над ним постоянно висели облака и тучи, беременные меловыми дождями, и когда они выпадали, поселок становился еще белее и чище, то есть совсем белым, как свежая простыня в хорошей больнице. Что же касается больницы, то она и была тут хорошая и большая. В ней болели и умирали шахтеры, больные особой болезнью, которую в разговоре друг с другом называли меловой. Пыль мела попадала рабочим в легкие, проникала в кровь, и кровь становилась слабой и жидкой. Люди бледнели, лица светились в сумраке ночных смен бело и призрачно, в часы передач и свиданий светились в окнах больницы на фоне изумительно чистых занавесок, прощально светились на фоне предсмертных подушек, а потом лица светились только на фотографиях в семейных альбомах. Снимок наклеивался на отдельной странице, и кто-нибудь из домашних старательно обводил его черным карандашом. Рамка получалась неровной, но торжественной. Однако вернемся ко второй железнодорожной комиссии, которая достает из кармана мел, и – закроем скобки) и пишет на вагоне: Петрову – столько-то, Иванову – столько-то, Сидорову – столько-то, итого – столько-то меловых рублей. Комиссия идет дальше и на каких-то вагонах и платформах

пишет слово проверено, а на других – проверить, ибо нельзя же проверить все сразу, есть же, в самом-то деле, и третья комиссия: пусть она и проверит оставшиеся вагоны. Но кроме комиссий, на станции есть некомиссии, иначе говоря, люди, не являющиеся членами комиссий, они стоят вне этого, заняты на других работах или вообще не служат. Тем не менее они тоже не могут побороть в себе желание взять кусочек мела и что-нибудь написать на стенке вагона – деревянной и теплой от солнца. Вот идет солдат в пилотке, направляется к вагону: до дембеля два месяца. Появляется шахтер, белая рука выводит лаконичное: гады. Двоечник пятого класса, кому, быть может, жить труднее, чем нам всем, вместе взятым: Марья Степанна – сука. Станционная рабочая в оранжевой безрукавке, которая обязана подвинчивать гайки и подметать виадуки, сбрасывая мусор вниз, на рельсы, умеет рисовать море. Она рисует на вагоне волнистую линию, и правда – получается море, а старик нищий, что не умеет ни петь, ни играть на гармони, а купить шарманку до сих пор не собрался, пишет два слова: вам спасибо. Какой-то парень, пьяный и кудлатый, узнавший стороной об измене подруги, в отчаянии: Валю любили трое. Наконец поезд выходит из тупика и движется по перегонам России. Он составлен из проверенных комиссиями вагонов, из чистых и бранных слов, кусочков чьих-то сердечных болей, памятных замет, деловых записок, бездельных графических упражнений, из смеха и клятв, из воплей и слез, из крови и мела, из белым по черному и коричневому, из страха смерти, из жалости к дальним и ближним, из нервотрепки, из добрых побуждений и розовых мечтаний, из хамства, нежности, тупости и холуйства. Поезд идет, на нем едут контейнеры Шейны Соломоновны Трахтенберг, и вся Россия, выходя на проветренные перроны, смотрит ему в глаза и читает начертанное – мимолетную книгу собственной жизни, книгу бестолковую, бездарную, скучную, созданную руками некомпетентных комиссий и жалких, оглупленных людей. Спустя сколько-то дней поезд прибывает в наш город, на товарную станцию. Сотрудники железнодорожной почты озабочены: им нужно сообщить Шейне Трахтенберг, что контейнеры с мебелью наконец-то получены. На дворе дождь, небо все в тучах. В специальной почтовой конторе у так называемой границы станции горит стосвечовая лампочка, она рассеивает полумрак и создает уют. В помещении конторы – несколько озабоченных конторщиков в голубой форме. Они озабоченно греют чай на электрической плитке и озабоченно пьют его. Пахнет бечевкой, сургучом, оберточной бумагой. Окно смотрит на ржавые запасные пути, меж шпал пробивается трава и растут какие-то мелкие, но прекрасные цветы. Глядеть на них из окна очень приятно. Форточка открыта, поэтому хорошо слышны некоторые характерные для узловой станции звуки: рожок сцепщика, лязг фаркопфов и буферов, шипение пневматических тормозов, гудки паровозов, команды диспетчера. Слышать все это тоже приятно, особенно если ты профессионал и можешь объяснить природу

любого из звуков, его смысл и значение. А ведь конторщики почтовой железнодорожной конторы и есть профессионалы, у них за плечами масса путевых километров, все они в свое время служили начальниками почтовых вагонов или работали проводниками тех же вагонов, а кое-кто даже на международных линиях, и, как принято говорить, повидали свет и знают, что к чему. И если явиться и спросить их начальника, так ли это…

Да, дорогой автор, именно так: прийти к нему домой, позвонить звучным велосипедным звонком у дверей – пусть он услышит и откроет. Кто там? Там-там, здесь живет Начальник такой-то? Здесь. Открывайте, пришли, чтобы спросить и получить правдивый ответ. Кто? Те Кто Пришли. Приходите завтра, сегодня уже поздно, мы с женой спим. Проснитесь, ибо наступила пора сказать правду. О ком, о чем? О ребятах вашей конторы. Почему ночью? Ночью все звуки слышнее: крик младенца, стон умирающего, полет найтингейла, кашель трамвайного констриктора: проснитесь, откройте и отвечайте. Подождите, я надену пижаму. Надевайте, она вам очень к лицу, симпатичная клеточка, шили или покупали? Не помню, не знаю, следует поинтересоваться у жены, мама, пришли Те Кто Пришли, они хотели бы знать про пижаму, шили или покупали, а если да, то где и почем. Да шили нет покупали шел снег было холодно мы возвращались из кино и я подумала что вот у мужа и в эту зиму не будет теплой пижамы заглянула в универмаг а ты остался на улице купить бананов за ними очередь была и я не особенно торопилась посмотрела сначала ковры и записалась на полтора метра на метр семьдесят пять на через три года потому что фабрику закрыли на ремонт а потом в мужском нижнем белье увидела сразу эту пижаму и китайские кальсоны с сорочкой лохматые такие и все не решу что лучше вообще-то мне больше нравились кальсоны и недорогие и цвет хороший в них и спать можно и на работу поддеть и дома ходить но ведь мы с соседями живем значит в прихожую или на кухню уже не выйдешь а в пижаме все-таки и прилично и мило даже вот и выписала пижаму на улицу возвращаюсь а ты еще за бананами стоишь и говорю тебе дай мол деньги я пижаму выписала а ты говоришь да не надо зачем барахло наверно какое-нибудь нет говорю не барахло вовсе а очень приличная вещь импортная с деревянными пуговицами ступай сам погляди а впереди тебя какая-то дама пожилая в жакетке стояла с клипсами полная такая седоватая она обернулась и говорит вы идете идите не бойтесь я все время буду стоять если что так я скажу что вы тут были за мной, а насчет пижамы говорит вы зря с супругой спорите я эту пижаму знаю очень стоящая покупка будет я на прошлой неделе всей семье такие купила отцу купила брату купила мужу купила а одну зятю в Гомель отправила он теперь на курсах там учится так что и не думайте даже покупайте и дело с концом потому

что иной раз приспичит ищешь эту самую пижаму по всему городу а тебе говорят зайдите в конце месяца зайдите в конце месяца заходишь в конце месяца а тебе говорят вчера были продали так что и не думайте даже жене после спасибо скажете а очередь я подержу не бойтесь и ты говоришь тогда ну ладно пойдем посмотрим мы в универмаг заходим и я спрашиваю ну как нравится а ты плечами как-то так пожимаешь и отвечаешь не знаю черт его знает ничего вроде пижама только странная почему-то в клетку и брюки по-моему узковатые это ты говоришь а продавщица услышала молоденькая симпатичная и предлагает да вы говорит примерьте прикиньте кабина-то у нас для чего поставлена не для меня же я взяла пижаму она на плечиках на деревянных висела пошли за занавеску там три зеркала больших ты когда раздеваться стал то снежинки все то есть не снежинки уже а капельки они прямо все зеркала забрызгали я из-за занавески высунулась и кричу продавщице девушка у вас тряпочка есть какая-нибудь а она а для чего вам а я да зеркало протереть нужно а она а что забрызгали да немножко на улице же снег идет а у вас в магазине так тепло что растаяло все она тогда достала из-под прилавка фланельку желтенькую нате говорит и спрашивает потом ну что примерили а я говорю да нет еще примеряем пока я вам скажу когда все готово будет вы уж загляните тогда посоветуйте может брюки правда узковатые потом я смотрю а ты уже в пижаме весь и вертишься в разные стороны даже присел два раза чтобы в паху проверить ну как спрашиваю а ты да все вроде толком вот брюки узковатые разве немного да и клетка тревожная какая-то не наша еще бы говорю импортная же вещь и продавщицу зову посоветоваться у нее покупателей как раз полно она сейчас сейчас отзывается а сама не идет и не идет тогда ты говоришь я сам к ней пойду а я не пускаю ты что неудобно народ кругом а ты отвечаешь ну и что народ что они пижамы что ли не видели у них у самих у каждого по десять пар что страшного-то говоришь что мы сами не народ что ли и выходишь из кабины и девушку спрашиваешь как мол ничего сидит а она как на вас шили очень даже берите не пожалеете такого размера всего полтора комплекта осталось к вечеру ничего не будет берут очень тогда ты спрашиваешь мне кажется брюки немного узковатые а вам как кажется девушка отвечает а это фасон такой самый теперь модный куртка длинная и широковатая а брюки наоборот но если захотите так перешить же можно где расставить а вот тут например на куртке я бы наоборот в оборку взяла потому что куртка в талии действительно чуть широкая да вам жена сделает или в ателье снесите и меня спрашивает у вас машинка есть дома есть только неважная она раньше у меня зингеровская ножная была материна еще а когда дочь замуж выходила я ей подарила не жалею конечно но немного все же жалко но дочке тоже ведь необходимо у них теперь маленький растет ему то да се пошить иногда требуется пусть конечно шьет дочка на зингеровской а мы себе

другую купили новая совсем электрическая но трудно на ней работать то ли она плохая то ли я не привыкла строчка на ней неровная выходит нитку рвет но уж лучше на ней чем в ателье нести в ателье же долго да и дорого так что дома подошьем разумеется а девушка говорит конечно подшейте дома вечер один посидеть и всё зато хорошая получится не на один год хватит и тебя спрашивает а вам-то самому нравится ты улыбнулся даже застеснялся по-моему да нормальная пижама говоришь чего там тогда девушка тебе а вы на железной дороге небось работаете мы с тобой переглянулись откуда мол она догадалась и я вопрос ей задаю вы как узнали интересуюсь очень просто отвечает у вашего мужа фуражка на голове форменная с молотком и ключом разводным а у меня брат тоже на поездах пригородные линии обслуживает придет иногда вечером и все рассказывает про работу где какое крушение произошло где что интересно я даже завидую ему каждый день что-то новое а здесь одно и то же всегда брать-то будете говорит я тогда прошу ее вы пижаму пожалуйста заверните нам а я сейчас выбью пойду а она да вы сначала выбейте я и заверну сразу я пошла выбила в кассе очередь была а ты пижаму снял в кабине и смотрю несешь уже ей на плечиках она стала заворачивать ленточкой даже перевязала неправда мама неправда я все вспомнил это была бечевка я еще подумал как у нас на работе мы пакуем бандероли и перевязываем посылки у нас ее целые мотки и катушки всегда есть никогда не кончается сколько угодно хорошей бечевки это была бечевка там в магазине там у девушки там там работаем с превышением графика не беспокойтесь заходите заглядывайте проверяйте звоните велосипедным звонком в любое время посмотрим бечевку почитаем японских поэтов Николаев Семен знает их наизусть и вообще умница много читает.

Горит стосвечовая лампочка, пахнет сургучом, веревкой, бумагой. За окном – ржавые рельсы, мелкие цветы, дождь и звуки узловой станции. Действующие лица. Начальник Такой-то – человек с видами на повышение. Семен Николаев – человек с умным видом. Федор Муромцев – человек обычного вида. Эти, а также Остальные Железнодорожники сидят за общим столом и пьют чай с баранками. Те Кто Пришли стоят в дверях. Говорит Начальник Такой-то: Николаев, пришли Те Кто Пришли, они желали бы послушать стихи или прозу японских классиков. С. Николаев, открывая книгу: у меня с собой совершенно случайно Ясунари Кавабата, он пишет: Неужели здесь такие холода? Очень уж вы все закутаны. Да, господин. Мы все уже в зимнем. Особенно морозно по вечерам, когда после снегопада наступит ясная погода. Сейчас, должно быть, ниже нуля. Уже ниже нуля? Н-да, холодно. До чего ни дотронешься, все холодное. В прошлом году тоже стояли большие холода. До двадцати с чем-то градусов ниже нуля доходило. А снегу много? В среднем снежный покров – семь-восемь сяку, а при

сильных снегопадах более одного дзе. Теперь, наверное, начнет сыпать. Да, сейчас самое время снегопадов, ждем. Вообще-то, снег выпал недавно, покрыл землю, а потом подтаял, опустился чуть ли не на сяку. Разве сейчас тает? Да, но теперь только и жди снегопадов. Ф. Муромцев: вот так история, Семен Данилович, вот так рассказец. С. Николаев: это не рассказец, Федор, это отрывок из романа. Начальник Такой-то: Николаев, Те Кто Пришли хотели бы еще. С. Николаев: пожалуйста, вот наугад: Девушка сидела и била в барабан. Я видел ее спину. Казалось, она совсем близко – в соседней комнате. Мое сердце забилось в такт барабану. Как барабан оживляет застолье! – сказала сорокалетняя, тоже смотревшая на танцовщицу. Ф. Муромцев: подумать только, а? С. Николаев: я прочту еще, это стихи одного японского поэта, это дзенский поэт Доген. Ф. Муромцев: дзенский? Понятно, Семен Данилович, но вы не назвали даты его рождения и смерти, назовите, если не секрет. С. Николаев: извините, я сейчас вспомню, вот они: 1200–1253. Начальник Такой-то: всего пятьдесят три года? С. Николаев: но каких! Ф. Муромцев: каких? С. Николаев, вставая с табуретки: Цветы весной, кукушка летом. И осенью – луна. Холодный чистый снег зимой. (Садится.) Все. Ф. Муромцев: все? С. Николаев: все. Ф. Муромцев: почему-то немного, Семен Данилович, а? Маловато. Может, там еще что-то есть, возможно, оборвано? С. Николаев: нет, все, это такая специальная форма стихотворения, есть стихи длинные, поэмы например, есть короче, а есть совсем короткие, в несколько строк, или даже в одну. Ф. Муромцев: а почему, зачем? С. Николаев: да как тебе сказать, – лаконизм. Ф. Муромцев: вот оно что, значит, я так понимаю, если сравнительно брать: идут по дистанции составы – идут или не идут? С. Николаев: ну, идут. Ф. Муромцев: а ведь они тоже разные. Есть такие длинные, что конца не дождешься, чтобы полотно перейти, а есть короткие (загибает пальцы на руке), раз, два, три, четыре, пять, да, пять, скажем, вагонов или платформ – годится? Тоже, стало быть, лаконизм? С. Николаев: в общем-то да. Ф. Муромцев: ну вот, разобрались. Как вы говорите: холодный чистый снег зимой? С. Николаев: зимой. Ф. Муромцев: это уж точно, Цунео Данилович, у нас зимой всегда снегу хватает, в январе не меньше девяти сяку, а в конце сезона на два дзе тянет. Ц. Николаев: два не два, а полтора-то уж точно будет. Ф. Муромацу: чего там полтора, Цунео-сан, когда два сплошь да рядом. Ц. Накамура: это как сказать, смотря где, если у насыпи с наветренной стороны, то конечно. А в полях гораздо меньше, полтора. Ф. Муромацу: ну, полтора так полтора, Цунео-сан, зачем спорить. Ц. Накамура: смотри-ка, дождь все не кончается. Ф. Муромацу: да, дождит, неважная погода. Ц. Накамура: вся станция мокрая, одни лужи кругом, и когда только высохнет. Ф. Муромацу: в такую слякоть без зонтика лучше и не появляйся на улицу – насквозь промочит. Ц. Накамура: в прошлом году в это время была точно такая погода, у меня в доме протекла крыша, промокли все татами, и я никак не мог повесить их

во дворе посушить. Ф. Муромацу: беда, Цунео-сан, такой дождь никому не идет на пользу, он только мешает. Правда, говорят, что это очень хорошо для риса, но человеку, особенно городскому, такой дождь приносит одни неприятности. Ц. Накамура: мой сосед из-за этого дождя уже неделю не встает, болеет, кашляет. Врач сказал, что если будет лить еще какое-то время, то соседа придется отправить в больницу, иначе он никогда не выздоровеет. Ф. Муромацу: для больного нет ничего хуже дождя, воздух становится влажным, и болезнь усиливается. Ц. Накамура: сегодня утром жена хотела пойти в лавку босиком, но я попросил ее надеть гета, ведь здоровье не купишь ни на какие деньги, а заболеть проще всего. Ф. Муромацу: правильно, господин, дождь холодный, без обуви и думать нельзя выходить, в эти дни нам всем следует поберечь себя. Ц. Накамура: немного саке не повредило бы нам, как ты думаешь? Ф. Муромацу: да, только совсем немного, одна-две порции, это оживило бы застолье не хуже барабана. Начальник Такой-то: Те Кто Пришли интересуются судьбой некоторых контейнеров. С. Николаев: каких именно? Начальник Такой-то: Шейны Трахтенберг. Ф. Муромцев: пришли, мы озабочены, нужно писать открытку, они стоят под открытым небом, дождь, они промокнут насквозь, ей нужно писать, вот бланк, вот адрес. Семен Данилович, пишите.

Уважаемая Шейна Соломоновна, – читал я, стоя в прихожей, которая казалась в то время почти огромной, потому что контейнеров еще не было, – уважаемая Шейна Соломоновна, мы, сотрудники почтовой железнодорожной конторы, имеем сообщить Вам, что над всем нашим городом, а также над его окрестными местами наблюдается затяжной предосенний дождь. Везде мокро, проселочные дороги развезло, листья деревьев пропитались влагой и пожелтели, а колеса паровозов, вагонов, дрезин сильно поржавели. В такие дни всем трудно, особенно нам, людям железной дороги. И все-таки мы решили не сбиваться с хорошего рабочего ритма, план свой выполняем, стараемся строго придерживаться обычного графика. И результаты налицо: несмотря на то что глубина некоторых луж у нас на станции достигла двух-трех сяку, мы отправили за последнее время не меньше писем и бандеролей, чем это было сделано за тот же период прошлого года. В заключение спешим уведомить Вас, что на станцию прибыли два контейнера на Ваше имя, и просим в срочном порядке организовать их отгрузку со двора нашей конторы. С уважением. Зачем ты рассказал мне об этом, я не хотел бы думать, что ты способен читать чужие письма, ты огорчил меня, скажи мне правду, может быть, ты придумал этот случай, я же знаю – ты любишь сочинять разные истории, в разговорах с тобой я тоже многое выдумываю. Там, в больнице, Заузе ужасно смеялся над нами, что мы такие фантазеры. Больной такой-то, смеялся он, честно говоря, я не встречал человека

здоровее вас, но ваша беда вот в чем: вы невероятный фантазер. И тогда мы отвечали ему: в таком случае вы не можете столь долго держать нас, мы требуем скорейшей выписки из вверенного вам здесь. Тут он сразу становился серьезным и спрашивал: ну хорошо, предположим, я завтра вас выпишу, но что вы собираетесь делать, чем будете заниматься, пойдете работать или вернетесь в школу? А мы отвечали: в школу? О нет, мы поедем за город, ибо у нас есть дача, вернее, не столько у нас, сколько у наших родителей, там немыслимо великолепно, час двадцать, ожидание ветра, песок и вереск, река и лодка, весна и лето, чтение в травах, легкий завтрак, кегли и оглушительно много птиц. Потом – осень, весь поселок в дымке, но – не подумайте – не туман и не дым, а прекрасная летучая паутина. Утром – роса на страницах оставленной в саду книги, прогулка за керосином на станцию. Но, доктор, мы даем вам честное слово, что не будем пить пиво в зеленом ларьке у пруда, где плотина. Нет, доктор, мы не любим пиво. Знаете, мы подумали и о вас, вы, наверное, тоже смогли бы убыть туда на несколько дней. Мы договоримся с отцом, и он не откажет. Вот, вы приедете на семичасовом, а мы встретим вас на специальном велосипеде с коляской. Понимаете, старый велосипед, а сбоку – коляска от небольшого мотоцикла. Но вероятно, что коляски не будет: еще не известно, как достать такую коляску. Но велосипед – есть. Он стоит в сарае, там же находится бочка с керосином и две пустые, мы иногда кричим в них. Там есть и доски, есть разные садовые инструментарии и бабушкино кресло, то есть, нет, простите, не так, отец всегда просил нас говорить наоборот: кресло бабушки. Так почтительнее, объяснял он. Однажды он сидел в этом самом кресле, а мы сидели рядом, на траве, и читали разные книги, да, доктор, вы же в курсе, нам трудно читать долго одну книгу, мы читаем сначала одну страницу одной книги, а потом одну страницу другой. Затем можно взять третью книгу и тоже прочитать одну страницу, а уже потом снова вернуться к первой книге. Так легче, меньше устаешь. И вот мы сидели на траве с разными книгами, и в одной какой-то книге было кое-что написано, мы сначала не поняли ничего, о чем это, потому что древняя довольно книга, сейчас таким языком никто не пишет, и мы сказали: папа, объясни нам, пожалуйста, мы не понимаем, что здесь написано. И тогда отец оторвался от газеты и спросил: ну, что там у тебя, снова ерунда какая-нибудь? И вот мы прочитали вслух: выпросил у Бога светлую Русь сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро, ты, диавол, вздумал, и нам то любо – Христа ради, нашего света, пострадать. Мы почему-то запомнили эти слова, у нас память, вообще-то, плохая, вы знаете, но если что-нибудь понравится, то сразу запоминаем. А отцу не понравилось. Он вскочил с кресла, выхватил у нас ту книгу и закричал: откуда, откуда, черт бы тебя взял, что за галиматья дурацкая! А мы отвечали: вчера мы ездили на ту сторону, там живет наш учитель, и он поинтересовался, чем мы заняты и что читаем. Мы сказали, что ты

дал нам несколько томов такого-то современного классика. Учитель засмеялся и побежал к реке. Потом вернулся, и с его больших веснушчатых ушей капала вода. Павел Петрович сказал нам: дорогой коллега, как славно, что имя, произнесенное вами не далее как минуту назад, растворилось, рассеялось в воздухе, будто дорожная пыль, и звуки эти не услышит тот, кого мы называем Насылающим, как хорошо, дорогой коллега, не так ли, иначе что было бы с этим замечательным стариком, он наверняка упал бы от ярости со своего велосипеда, а затем не оставил бы от наших уважаемых поселков камня на камне, и впрочем, недурно бы сделал, потому что время. Что же касается моих влажных ушей, которые вы так внимательно изучаете, то они оттого мокры, что я умыл их в водах зримого вами водоема, дабы очистить от скверны упомянутого имени и встретить грядущее небытие в белизне души, тела, помыслов, языка и ушей. Мой молодой друг, ученик и товарищ, сказал нам учитель, в горьких ли кладезях народной мудрости, в сладких ли речениях и речах, в прахе отверженных и в страхе приближенных, в скитальческих сумах и иудиных суммах, в движении от и в стоянии над, во лжи обманутых и в правде оболганных, в войне и мире, в мареве и мураве, в стадиях и студиях, в стыде и страданиях, во тьме и свете, в ненависти и жалости, в жизни и вне ее – во всем этом и в прочем следует хорошенько разобраться, в этом что-то есть, может быть, немного, но есть. Там и сям, там и сям что-то произошло, мы не можем сказать с уверенностью, что именно, ибо пока не знаем ни сути, ни имени явления, но, дорогой ученик и товарищ такой-то, когда мы выясним и вместе обсудим это, выясним причину и определим следствие, тогда придет наша пора, пора сказать некое слово – и скажем. И если случится, что вы разберетесь во всем этом первый, немедленно сообщите, адрес вы знаете: стоя над рекой на закате дня, когда умирают укушенные змеей, звонить велосипедным звонком, а лучше – звенеть деревенской косой, приговаривая: коси, коса, пока роса, или: коси-коси, ножка, где твоя дорожка, и так далее, пока загорелый учитель Павел не услышит и, приплясывая, не выйдет из дома, не отвяжет лодку, не прыгнет в нее, не возьмет в руки самодельные гре?би, не перегребет Лету, не сойдет на твоем берегу, не обнимет, не поцелует, не скажет добрых загадочных слов, не получит, нет, не прочитает отправленного письма, ибо его, вашего учителя, нету в живых, вот беда, вот незадача, нету в живых, а вы – живите, пока не умрете, качайте пиво из бочек и детей в колясках, дышите воздухом сосновых боров, бегайте в лугах и собирайте букеты – о цветы! Как ненаглядны вы мне, как ненаглядны. Покидая сей мир, жаждал увидеть букет одуванчиков, но не дано было. Что принесли в дом мой в последний час мой, что принесли? Шелк и креп принесли, одели в ненавистный двубортный пиджак, отняли летнюю шляпу, многократно пробитую ревизорским компостером, надели какие-то брюки, дрянные – не спорьте – дрянные брюки за пятьдесят потных рублей, я никогда

не носил таких, это мерзко, липнут, тело мое не дышит, не спится, галстук, о! Они нацепили мне галстук в горошек, снимите немедленно, откройте меня и снимите хотя бы галстук, я вам не какая-нибудь канцелярская крыса, я никогда – поймите же – не ваш, не ваш – никогда не носил никаких галстуков. Неразумные, неразумные бедняги, оставшиеся жить, больные бледной немочью и мертвее меня, вы, знаю, сложились на похороны и купили весь этот шутовской наряд, да как вы посмели надеть на меня жилетку и кожаные полуботинки с металлическими полузаклепками, каких я никогда не носил при жизни, ах, вы не знали, вы полагали, будто я получаю пятьсот недостойных, неправедных рублей в месяц и покупаю те же непотребные тряпки, что и вы. Нет, проходимцы, вам не удалось оболгать меня живого, а мертвого тем паче не удастся. Нет, я не ваш, и никогда не получал больше восьмидесяти, но то были другие, не ваши, то были ветрогоновы чистые деньги, не запятнанные ложью ваших мерзостных теорий и догм, лучше избейте меня, мертвого, но снимите это, верните мне шляпу, пробитую компостером констриктора, верните все, что изъяли, мертвому положены его вещи, дайте ковбойку, сандалии в стиле Римской империи эпохи строительства акведука, их я положу под мою лысеющую голову, потому что все равно, назло вам – даже и в долинах небытия – стану ходить босой, и брюки, мои залатанные брюки – вы не имеете права, мне жарко в вашем дерьме, сдайте на комиссию ваше ничто, раздайте деньги тем, кто отдавал их, я не хочу ни копейки от вас, нет, не хочу, и не навязывайте мне галстук, иначе я плюну в ваши изъеденные червями хари своей отравленной жгучей слюной, оставьте в покое учителя географии Павла Петровича! Да, я кричу и буду кричать бессонно-всегда, я кричу о великом бессмертии великого учителя Савла, я желаю быть вам неистово-отвратительным, я буду врываться в ваши сны и явь, как хулиган врывается в класс во время урока, врываться с окровавленным языком и, неумолимый, буду кричать вам о своей недостижимой и прекрасной бедности, вы же не пытайтесь задобрить меня подарками, мне не нужны ваши потные тряпки и гнойные рубли, и прекратите музыку, или я сведу вас с ума криком честнейшего из умерших. Слушайте мой приказ, мой вопль: дайте же мне одуванчиков и принесите мои одежды! И к черту вашу сопливую похоронную музыку, гоните пинками в зад проспиртованных оркестрантов. Вонючие дряни, могильные жуки! Заткните глотки любителям панихид, прочь от тела моего, или я восстану и сам прогоню всех поганой школьной указкой, я – Павел Петрович, учитель географии, крупнейший вращатель картонного шара, я ухожу от вас, чтобы прийти, пустите!

Так говорил учитель Павел, стоя на берегу Леты. С умытых ушей его капала вода реки, а сама река медленно струилась мимо него и мимо нас вместе со всеми

своими рыбами, плоскодонками, древними парусными судами, с отраженными облаками, невидимыми и грядущими утопленниками, лягушачьей икрой, ряской, с неустанными водомерами, с оборванными кусками сетей, с потерянными кем-то песчинками и золотыми браслетами, с пустыми консервными банками и тяжелыми шапками мономахов, пятнами мазута, с почти неразличимыми лицами паромщиков, с яблоками раздора и грушами печали и с маленькими обрезками ниппельных шлангов, не имея которых нельзя кататься на велосипеде, ибо ты не можешь накачать камеру, если не наденешь такую резиновую трубочку на вентильный стержень, а тогда все пропало, ведь если велосипедом невозможно пользоваться, то его как бы не существует, он почти исчезает, а без велосипеда на даче нечего делать: не съездишь за керосином, не прокатишься до пруда и обратно, не встретишь на станции доктора Заузе, прибывшего семичасовой электричкой: он стоит на платформе, оглядывается, смотрит во все стороны, а тебя нет, хотя вы договорились, что непременно встретишь его, и вот он стоит, ждет, а ты все не едешь, поскольку не можешь найти хороший шланг, но доктор не знает об этом, впрочем, уже смутно догадывается: наверное, предполагает он, у больного такого-то что-нибудь не в порядке с веломашиной, скорее всего с ниппелем, обычная история, с этими шлангами сплошное наказание, жаль, что я не догадался купить в городе метра два-три, ему хватило бы на все лето, размышляет доктор. Извини, пожалуйста, а что сказал нам Павел Петрович, давая книгу, которая так не понравилась отцу? Ничего, учитель не сказал ничего. А по-моему, он сказал: книга. Даже так: вот книга. И даже больше того: вот вам книга, сказал учитель. А что сказал отец по поводу книги, когда мы передали ему наш разговор с Павлом? Отец не поверил ни одному из слов сказанных. Почему, разве мы говорили неправду? Нет, правду, но ты же знаешь отца нашего, он не верит никому, и когда я однажды об этом ему сказал, он ответил, что весь свет состоит из негодяев, и только негодяев, и если бы он верил людям, то никогда бы не стал ведущим прокурором города, а работал бы в лучшем случае домоуправом, подобно Сорокину, или дачным стекольщиком. И тогда я спросил отца про газеты. А что – газеты? – отозвался отец. И я сказал: ты все время читаешь газеты. Да, читаю, отвечал он, газеты читаю, ну и что же. А разве там ничего не написано? – спросил я. Почему ж, сказал отец, там все написано, что нужно – то и написано. А если, спросил я, там что-то написано, то зачем же читать: негодяи же пишут. И тогда отец сказал: кто негодяи? И я ответил: те, кто пишут. Отец спросил: что пишут? И я ответил: газеты. Отец молчал и смотрел на меня, я же смотрел на него, и мне было немного жаль его, потому что я видел, как он растерялся и как по большому белому лицу его, как две черные слезы, ползли две большие мухи, а он даже не мог смахнуть их, поскольку очень растерялся. Затем он тихо сказал мне: убирайся, я не желаю тебя видеть, сукин ты сын, убирайся куда хочешь. Дело было на даче. Я выкатил

из сарая велосипед, привязал к раме сачок и поехал по дорожке нашего сада. В саду уже зрели первые яблоки, и мне казалось, я видел, что в каждом из них сидят черви и без устали грызут наши, то есть отцовы, плоды. И я думал: явится осень, а собирать в саду будет нечего, останется одна гниль. Я ехал, а сад все не кончался, ибо ему все не было конца, а когда конец наступил, я увидел перед собой забор и калитку, и у калитки стояла мама. Добрый день, мама, крикнул я, как ты сегодня рано с работы! Бог с тобой, с какой работы, возражала она, я не работаю с тех пор, как ты пошел в школу, скоро четырнадцать лет. А, вот как, – сказал я, – значит, я просто-напросто забыл, я слишком долго мчался по саду, наверное, все эти годы, и многое вылетело из головы. Знаешь, в зябликах, вернее, в яблоках нашего вертограда сидят черви, надо что-нибудь придумать, какое-нибудь средство, а то останется сплошная труха и есть будет совершенно нечего, не сваришь даже варенья. Мать глянула на мой сачок и спросила: ты что, опять поссорился с отцом? Я не хотел огорчать ее и ответил так: немного, мама, мы беседовали о первопечатнике Федорове Иоанне, я высказал убеждение, что он – аз, буки, веди, глагол, добро, еси, живете, земля, ижица и так далее, а отец не поверил и посоветовал мне поехать половить бабочек, и вот я еду. До свидания, мама, – закричал я, – еду себе, еду за луговыми желтушками, да здравствует лето, весна и цветы, величие мысли, могущество страсти, а также любви, доброты, красоты! Дин-дон, бим-бом, тик-так, тук-тук, скрип-скряп. Я недаром перечислил эти звуки, это мои любимые звуки, звуки летящего по дачной тропинке веселого велосипеда, а весь поселок уже запутался в паутине маленьких пауков, пусть до настоящей осени и было еще далеко. Но паукам все равно, до свидания, мама, не горюй, мы еще встретимся. Она крикнула: вернись! – И я оглянулся: мать тревожно стояла у калитки, и я подумал: если вернусь, ничего хорошего из этого не выйдет: мать непременно станет плакать, заставит покинуть седло велосипеда, возьмет под руку, и мы через сад возвратимся на дачу, и мать начнет мирить меня с отцом, на что потребуется еще несколько лет, а жизнь, которую в нашем и в соседних поселках принято измерять сроками так называемого времени,

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/sasha-sokolov/shkola-dlya-durakov-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить